

Ю.И. АРХИПОВ (МОСКВА)

ПАМЯТИ ДРУГА (ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВ)

Владимир Харитонов (1940–2010) – переводчик от Бога (Стерн, Филдинг, Томас Вулф, Беллоу, Набоков), чудо-редактор, вездливый комментатор классики. Эпизодически – эссеист, да такой, что Алексей Зверев, работавший тогда в «Вопросах литературы», на моих глазах отчитывал за порыв неопитского ригоризма юную практикантку (уж не Татьяну ли Бек?), посягнувшую на володины архаические красоты: «Что вы, что вы, голубушка, Харитонova нельзя трогать – у него стиль!». Переполошившись так, будто правили текст не его одноклассника по филфаку МГУ, а по меньшей мере какого-нибудь академика Дживилегова.

Но вот случай, когда к профессиональным заслугам достоинство человека не сводится. Когда жизнь словно берет реванш у отражений жизни. И человек не вмещается ни в какие определения человека. Глупо ведь сказать о нашем ровеснике Приёмыхове, что он «актёр», хотя актёр-то он лучший в своём поколении. И ещё один «наш человек» Шемякин – не просто и не только художник.

Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... Мой любимый тезис. Харитонов вторгся в мой мир как самое весомое, самое убедительное его опровержение. Он был гений – всегда уместного слова и жеста, проникнутого взрывным юмором, властного обаяния. Умевший одним словом или поднятием брови извлечь анекдотический корень из любой ситуации. Могший и без каких-либо хохм, незаметным претворением обыденности в новеллу зажечь любую компанию. Да так, что мы посреди пира устремлялись вдруг на Ваганьково чокаться с памятником Высоцкому, или неслись в Питер любоваться белыми ночами, или торили по карте дорогу в Ферапонтово.

Шестидесятниками у нас считаются воспеватели Лонжюмо и Казанского университета, да ещё псевдофилософы, метавшиеся от зияющих высот к катастрофике, а то и вовсе сводившие счёты с жизнью, потому что, сверившись с любимой марксовой догмой, разуверились в советской власти.

А реальными-то шестидесятниками были мы, поступившие в шестидесятном во студенты, только-только проводив Пастернака до гроба. То бишь, распрошавшись с иллюзиями, которыми не успели обзавестись. Дети оттепели, измладу равнодушные к любой власти, и кнута её, и прянику. Искавшие роста сил в любви, дружбе, жадном поглощении шедевров, нами же назначаемых в таковые в итоге запойного чтения. Изрядно притомившись в предшествующие десятилетия, власть тогда ослабила свои щупальца – потом хватилась, да было поздно. Чудесные, дивные ниши были уже найдены нами и даже обставлены – с виду не ахти как, но не без комфорта душевного. Да и материально интеллигентам жилось в те годы не в пример теперешнему жалкому бытию. И на богемный коньячок, и на сбор икон по северным деревням, и на горные лыжи в Цахкадзоре, и на букинистов хватало.

По внутреннему лиризму и защищённости юмором от внешних, «объективных» напастей Харитонов был «типичным героем нашего времени» – как в недавние тогда ещё школьные годы мы писали о «лишних людях». Близкие среде персонажи культовых фильмов того времени («Полёты во сне и наяву», «Осенний марафон») казались списанными с Володи, только какими-то слишком невнятными, бледноватыми по сравнению с нашим балагуром и баламутом с повадками Хэмфри Богарта или хичкокова Стюарта. А ведь простой был парень – из самой обыкновенной советской семьи. «Не в болонии», как пел Высоцкий, но лорд лордом во всём.

Кому-то, младым, но сметливо злым карьеристам мы все и тогда казались людьми ненужными, лишними. Но вот миновало полвека, и от них, нелишних, ничего не осталось: иных уж нет, а те далече. А на вечер памяти Харитонova в Овальный зал Библиотеки иностранной литературы собралось на днях более ста человек из числа бывлых лишних: один заслуженнее, именитее другого. И каждый говорил о нём как о своём лучшем друге. Герой потому и герой, что в каждом оставляет частицу себя. На всю жизнь врезываясь в самые заветные воспоминания.

Мы познакомились с ним при поступлении в аспирантуру. Взглянули друг на друга набычившись: претендовали на одно место. До петушиных боёв, однако, не дошло; профессор Самарин вовремя добыл дополнительный «целевик». Обеспечив нам мгновенное сближение и дружбу на сорок четыре года.

Очевидное «избирательное сродство» – при всей разнице темпераментов. Всегда особо сближающее совпадение вкусов, уютное обследование забегаловок, нескончаемые разговоры русских мальчиков, взгеты не только сходными взглядами и общей приязнью. Помнится, я сказал тогда одному из «наших», увлечённому своей диссертацией о Прусте: «Да ладно тебе – Пруст, Пруст... Записать бы наши разговоры с Володей Харитоновым и Наташей Старостиной, то куда бы он, твой Пруст, подевался!».

Как-то заглянул ко мне на огонёк один известный пиит-переводчик – «посражаться в шахматы»: видимо, наш общий приятель Юра Кублановский, напев про меня что-то комплиментарное, забыл сообщить, что я всё-таки кандидат в мастера по этому делу, и сражаться с выгодой для себя в системе Союза писателей мог со мной только Женя Храмов. Но уходил он не шахматной побитостью удручённый. А тем, что уж очень всё во мне невопад для него оказалось: и на немецкий-то я перевожу не кого-нибудь, а Константина Леонтьева, и статей о Личутине написал больше, чем о Битове с Ахмадулиной. «А как же вы тогда дружите с Володей Харитоновым?» – спросил он у вешалки с превеликим недоумением. Бацилла партийной организации и партийной литературы, казалось, понапрасну во время оное прививаемая, дождалась своего часа, вспыхнув ныне с остервенелой силой.

А мы дружили и дружим со «своими» вполне беспартийно. Воздавая литераторам по таланту, не конвоируя их по лагерям. Вспоминается в связи с этим один выпуклый эпизод.

В начале семидесятых было. Вышли мы из здания Энциклопедии, где Володя служил после аспирантуры редактором, и двинулись по бульвару к метро. Отыскав по пути, разумеется, заветный подвальныйчик в глубине дворов, где за небольшую кучку смятых рублей и трёшек можно было добыть по бокалу настоящего армянского коньяка. Благословенные бывали в истории Отечества времена – сказал бы, верно,

Венечка Ерофеев, двумя или тремя курсами наш старший товарищ. И так повеселев и взбодрившись, мы купили в начале бульвара свежий номер «Нового мира» и устроились на лавочке близ Чистого пруда. Володя наугад раскрыл бледно-голубую тетрадь, и взгляд его упал на текст, от которого расположенные к чуду глаза его загорелись. То были «Вологодские бухтины» Василия Белова, прочитанные мне им тут же вслух с необыкновенным артистизмом. Впрочем, слово «артистизм» тут нелепое, глупое: кто из артистов способен на адекватное чтение художественного произведения? (Недавно хранительница мурановского музея рассказала мне, как в те же, примерно, семидесятые, приезжал к ним в имение артист Михаил Казаков – читать стихи, и кто-то из внуков Тютчева, местоблюстителей, вышел к ним, молодым сотрудницам, на кухню и в сердцах воскликнул: «Убил бы гада!».) Волшебство тут достигалось тем, что было удвоено или утроено мастерством словесника: Харитонов читал так, будто он, как Гоголь, сам сочинял на ходу историю про бедолагу-колхозника и шатуна-медведя, про их внезапную, после распри, дружбу, скреплённую, спасибо сельпо, старинным русским обычаем. Текст по мифологической своей насыщенности, может быть, из ключевых во всей русской литературе. И как был вовремя спущен с небес двум юным якобы западникам, чтобы не теряли связи с тем, без чего пусто жить, – со своим, близким, родным.

Далёкие, милые были... Словно драгоценные нити, пронизывающие жизнь, чтобы оборваться так внезапно и горько. Дай Бог, чтобы не навсегда.